

ТЕОДОР
КРАМЕР



*хвала
отчаянию*

Избранные
стихотворения

Теодор Крамер

Хвала отчаянию

«Водолей»

УДК 821.112.2
ББК 84(4Ге)

Крамер Т.

Хвала отчаянию / Т. Крамер — «Водолей»,

ISBN 978-5-91763-486-9

Крупнейший австрийский поэт XX века Теодор Крамер (1897–1958), чье творчество было признано немецкоязычным миром еще в 1920-е гг., стал известен в России лишь в 1970-е. После оккупации Австрии, благодаря помощи высоко ценившего Крамера Томаса Манна, в 1939 г. поэт сумел бежать в Англию, где и прожил до осени 1957 г. При жизни его творчество осталось на девяносто процентов не опубликованным; по сей день увидело свет немногим более двух тысяч стихотворений; вчетверо больше остаются неизданными. Стихи Т. Крамера переведены на десятки языков, в том числе и на русский. В России больше всего сделал для популяризации творчества поэта Евгений Витковский; его переводы в 1993 г. были удостоены премии Австрийского министерства просвещения. Настоящее издание объединяет все переводы Е. Витковского, в том числе неопубликованные.

УДК 821.112.2

ББК 84(4Ге)

ISBN 978-5-91763-486-9

© Крамер Т.
© Водолей

Содержание

День поминаения Теодора Крамера	5
Из сборника «Условный знак»	13
Внаймы	13
Хлеба в Мархфельде	14
Год винограда	15
В лёссовом краю	16
Последнее странствие	17
Последняя улица	18
Условный знак	19
«Если хочет богадельщик...»	20
Ужин	21
Кровать	22
Мотыга, заступ, долбня	23
Комнатный маляр	24
Песня по часам	25
Двое затравленных	26
Рента	28
Отчет по поводу смерти торговца-надомника Элиаса Шпатца	30
Из сборника «Календарь»	31
О великом холоде накануне нового 1929 года	31
Зимняя оттепель	32
Затопленная земля	33
Майские костры	34
Светлое время	35
Летние тучи	36
Облава	37
«Вот-вот желтизной озарятся отавы...»	38
Зима зимой	39
Из сборника «Трясинами встречала нас Волянь»	40
«Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые...»	40
«Угрюмо сорняком обсажен черным...»	41
Разоренные земли	42
«Трясинами встречала нас Волянь...»	43
«Мы улеглись на каменной брусчатке...»	44
Винтовки в дыму	45
Ночь в лагере	46
Лошади под Деллахом	47
Демобилизация	48
Художник	49
Военнопленный	50
Поселенцы	51
Контуженный	52
Из сборника «С гармоникой»	53
Мартовские смерти	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Теодор Крамер

Хвала отчаянию

День поминовения Теодора Крамера

*И не написано еще так много
Того, что только я один пишу...*
Теодор Крамер

Еще недавно, предлагая русскому читателю стихи Крамера, приходилось рассказывать о том, кто и когда назвал его «вторым после Рильке великим поэтом Австрии». В ХХІ веке в этом уже нет нужды: не только среди австрийских поэтов, но и в целом среди тех, кто писал на немецком языке в прошлом столетии, Теодор Крамер занимает одно из первых мест – вместе с Георгом Геймом, Бертольтом Брехтом, Готфридом Бенном, Георгом Траклем, Паулем Целаном. И это несмотря на то, что даже сейчас, когда издано огромное, в три тома, собрание его стихотворений (предисловие к которому написал бывший канцлер Австрии Бруно Крайский), мы имеем возможность прочесть менее четверти его творческого наследия.

Теодор Крамер вступил в литературу в конце двадцатых годов ХХ века: наиболее ранние стихотворения в его трехтомном «Собрании» (заметим – Крамер всю жизнь кроме стихов писал разве что письма) датированы 1925 годом. Но в венском архиве Крамера по сей день, помимо изданных на сегодняшний день примерно двух тысяч его стихотворений, хранится вчетверо больше.

Четыре поэтических сборника, выпущенные до того, как в 1939 году поэт чудом покинул оккупированную родину, обеспечили ему известность среди многих читателей. Обеспечили они и столь же пристальное внимание со стороны нацистов. Идеолог национал-социализма Альфред Розенберг по первым же опубликованным стихотворениям безошибочно распознал в Крамере непримиримого врага: еще в 1928 году, *за несколько месяцев до выхода в свет первой книги Крамера*, он посвятил творчеству поэта гневную статью, заклеил титулом «придворного поэта демократии», а позднее (1939) подписал документ, в котором книги Крамера попали в пресловутый список того, что подлежало сожжению.

...Между тем, когда в начале 1958 года поэт умер в одной из венских больниц, за его гробом шло едва ли три десятка человек: при жизни он оказался забыт. Еще через полвека он стал одним из самых читаемых, исполняемых и известных поэтов ХХ века, но до середины 1970-х годов он был не известен почти никому. Воскрешение его началось сперва в Германии (и в СССР!), лишь много позже наступило признание его «главным» собственно австрийским поэтом.

Поэт родился «в день рождения Гамлета, принца Датского» – первого января. Произошло это в 1897 году, в полусотне километров от Вены, в большой деревне Нидерхолабрунн в нынешней Нижней Австрии, одной из самых маленьких провинций страны, недалеко от берега заросшего камышом озера Нойзидлерзее, ныне разделяющего Австрию и Венгрию, – озеро это более всего прославил своими книгами зоолог Конрад Лоренц. Озеро целиком заросло камышом, но максимум глубины в нем всего-то полтора метра, и детство в таком странном для Европы месте не прошло для творчества Крамера даром. Отец будущего поэта был сельским врачом и чистокровным евреем, мать – еврейкой наполовину (ее вполне арийская матушка косвенным образом спасла внуку жизнь, но об этом ниже). Отец, Макс Крамер, был буквально «непричастен музам»; мать, судя по всему, дальше знакомства с Гейне и Лессингом не пошла. Образование поэт получил среднее, в Вене, точнее, в воспетом им много позднее Леопольд-

штадте, собирался получить и высшее, но помешала война... а еще больше то, что с 1913 года юноша стал всерьез писать стихи, всё меньше интересуясь карьерой служащего. Он глубоко знал диалекты, которыми пестрит земля Австрии: помимо сугубо венских и бургенландских словечек, стихи его полны заимствованиями из хорватского, каринтийского и множества других языков и диалектов. Неожиданно и то, что Крамер, переходя на трехдольные размеры – дактиль, амфибрахий и анапест, – легче и привычнее воспринимается русским ухом, чем немецким: тут явно сказалось славянское окружение, и в этом, возможно, секрет того, что сейчас на стихи Крамера написано множество песен, вышло немало компакт-дисков – музыка продиктована самими «ровными» ритмами, столь удобными для музыканта и певца. Не приходится удивляться, что берлинские журналы, куда он посылал стихи, их даже не рассматривали. Считается, что дело было в их «социальной направленности», но, видимо, не только в ней.

13 октября 1915 года юноша был призван на военную службу. Сначала он попал на Волынь, на Восточный фронт, где был тяжело ранен в челюсть и горло; после госпиталя попал на Южный фронт, где ценой чудовищных потерь в живой силе победу одержала все-таки Италия. Австро-Венгрия же в 1918 году вовсе перестала существовать как империя, распавшись на несколько отдельных государств, а то, что осталось, поделили между собой страны-победители, в том числе и те, кто особо интенсивного участия в войне не принимал. Крамеру повезло: с итальянского фронта он вернулся живым и стал искать место в жизни.

Теперь, когда слава поэта и его имя в пантеоне лучших из лучших бесспорны, часто говорят, что он родился не в то время и не в том месте. В подобном утверждении нет ничего, кроме непонимания сути поэзии Крамера (да и поэзии в целом). Если бы Крамер прожил благополучную жизнь, он обречен был бы не состояться как поэт. По сходному поводу другой эмигрант, Иван Елагин, писал:

Что всякого горя и смрада
Хлебнешь ты сполна,
Что сломана гроздь винограда
Во имя вина.

Именно благополучия в жизни ему выпало меньше всего, что и дало толчок его поискам «низовых», во многом не известных ранее немецкой литературе тем и форм. Их он нашел очень скоро. Окончательно оставив надежды на высшее образование (то не давалась математика, то требовалась латынь, которой Крамер не знал), в поэзии он уже обрел «свое». Как и его почти ровесник Бертольт Брехт, еще недавно разговаривавший лишь на швабском диалекте, Крамер пришел почти к тому же: к балладе о жизни униженных и обиженных жизнью.

Много лет спустя Леон Фейхтвангер писал: *«По всей вероятности, исходной точкой Брехта является баллада. Он опубликовал собрание баллад, озаглавленное «Домашние проповеди»; это истории малых, а порой и великих жизней, изложенные в первозданной, народной форме, – дикие, грубые, набожные, циничные. Многие люди впервые показаны в этих стихотворениях, многие чувства впервые высказаны»*. Эти слова, сказанные о Брехте, видимо, даже в большей степени можно отнести к Крамеру: жанр возник у них одновременно, даты выхода первых серьезных сборников почти идентичны: «Домашние проповеди» Брехта вышли в 1926 году, «Условный знак» Крамера – в 1928 (и сразу же был отмечен Премией города Вены). Однако Брехт писал драмы, прозу, эссе и многое другое; Крамер, как уже было сказано, кроме стихов не писал ничего, вот и запоздала к нему слава. Впрочем, за деревьями, как всегда, не видно леса: слава к Брехту-поэту (не к драматургу) в тех масштабах, каких он заслужил, не пришла и по сей день.

Вернемся к Крамеру. Годы после Первой мировой войны он провел так, словно специально собирал материал для будущих баллад: служил в книжном магазине, бродяжничал по

Нижней Австрии и Бургенланду, нанимаясь то в чернорабочие, то в сторожа, словом, побывал в роли многих своих будущих героев. Лишь на тридцатом году жизни, в 1926, он напечатал, насколько известно, первое стихотворение. И сразу понравился читателям. Двумя годами позже вышла и его первая книга – «Условный знак» (1928); вышла она, заметим, во Франкфурте-на-Майне. В том же году (вместе с Эгоном Сузо Вальдеком) он получает Премию города Вены и на некоторое время становится в столице Австрии (и не только там) любимым и желанным «газетным поэтом»: помимо журнальных публикаций, в 1930 году выходит в свет (в Берлине) его небольшая книга «Календарь», и лишь в 1931 году в Вене – даже не совсем сборник, а в некотором роде дневник военных лет (1915–1918) – «Трясинами встречала нас Волянь», в тетрадах стихотворения этой книги датированы 1928–1931 годами, это «дневник по памяти». Первую часть, «дневниковую», переводчику очень трудно фрагментировать – это почти поэма, запись военных событий и быта буквально по часам. Вторую часть, галерею «портретов» тех, кто вернулся с войны, переводчику пришлось сделать чуть ли не целиком. Читатель может убедиться: ничего подобного он о войне не читал, – разве что в прозе. Между тем у Крамера это поэзия, и поэзия высокой пробы.

1933 год многое изменил в судьбе Крамера. В июне он женился на Инге Хальберштам, эмигрировавшей в Англию в 1941 году даже раньше Крамера. Но это был факт личной жизни поэта, а факты жизни общественной изменяли всю Европу ежеминутно.

После прихода нацистов к власти в Германии Крамер уже не мог там печататься. Хотя он почти не помнил о собственном происхождении и за кружкой пива весело травил байки о своей бабушке по матери, чье природное имя было Паулина Франциска Пич, и поэтому по галахическим законам, к слову сказать, для евреев Крамер евреем не был. Но бабушка вышла замуж за еврея, их дочь – мать Крамера, погибшая в Терезиенштадте в январе 1943 года – по нюрнбергским расовым законам относилась к «полукровкам» (поэтому и подлежала ликвидации *лишь во вторую очередь*), и выходило, что взгляды нацистов и самого Крамера, которого мало интересовало собственное еврейство, деликатно говоря, не совпали. В самой Австрии в 1934 году пришло к власти правительство Федерального канцлера Курта Шушнига, чью политику до самой аннексии Австрии Германией в 1938 году трудно охарактеризовать иначе, нежели как «попытку мыши спрятаться под метлу»: после аншлюса сам Шушник оказался под домашним арестом, а позднее в концлагерях Дахау и Заксенхаузен, лишь по счастливой случайности он спасся и эмигрировал в США. Но в 1938 году в Австрии уже всю хозяйничал ставленник Гитлера, австрийский адвокат Артур Зейсс-Инкварт, будущий почетный клиент Нюрнбергской виселицы; рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер и преемник Пилсудского президент Польши Игнаций Мосницкий весело кромсали Чехословакию, никому не хотелось представлять, что будет дальше; по крайней мере, казалось, что «это еще не война».

...Однако в 1934 году было еще и вовсе сплошное «потом, потом...», про пакт Пилсудского-Гитлера тактично не упоминали. Крамер писал свои баллады, но печататься ему было почти негде, практически все «рабочие газеты» были запрещены, и лишь небольшие ежесыщные пожертвования друзей – в том числе таких значительных поэтов, как Эрика Миттерер и Паула фон Прерадович (к слову – автор текста нынешнего гимна Австрийской республики), спасали Крамера и его жену Ингу (Розу) Хальберштам от голода. Силами друзей в 1936 году в эфемерном издательстве Der Gsur-Verlag был издан самый большой из прижизненных сборников Крамера – «С гармоникой», сборник, поражающий своим совершенством – и скупостью отбора: ведь писал Крамер ежедневно, причем в иные дни и по два стихотворения, и больше. Как тут не вспомнить, что первые 17 стихотворений своего бессмертного «Часослова» Рильке написал в один день! Однако – времена были другие. Рильке издавали и любили. Крамера – только любили, а насчет изданий – так скоро стало не до них.

12-13 марта 1938 года слово «Австрия» исчезло с европейских карт. Появилось нацистское «Остмарк». Уроженцу городка Браунау-на-Инне, тогда входившему в Австро-Венгрию,

осталось лишь констатировать, что он теперь – полноценный немец, не австриец какой-нибудь, он теперь – известный всему миру Адольф Гитлер, – никогда, кстати, не носивший фамилию матери (Шикльгрубер), это – фамилия его бабушки по отцу (?), а наиболее вероятным отцом «австрийца» современные ученые считают Иоганна Непомука Гюттлера, брата второго мужа его матери, который и воспитал юного Адольфа. Кстати, широко известно, что Гитлер был художником, но многие ли знают о его близком родстве с выдающимся австрийским поэтом Робертом Гамерлингом?.. Осенью 1938 года имела место «Ночь хрустальных ножей»; чем это кончилось для евреев далеко не только одной Германии – общеизвестно.

Тем временем австрийский еврей на три четверти, поэт Теодор Крамер, мог утешаться лишь тем, что его-то отец, Макс Крамер, умер в 1935 году и всего этого уже не видел. Мать Крамера, урожденную Доктор (это фамилия!) пока не выселяли, и сколько-то времени сын мог ночевать у нее. Ну, а за океаном – по версии журнала «Тайм» – Гитлер был избран «Человеком года». Журнал был уверен, что наступающий 1939 год с помощью Гитлера «перевернет мир». В целом так и вышло, но слишком многим из читателей такая уверенность стоила жизни. Однако об этом – в другой раз и в другом месте.

Полноватый, небольшого роста человек с бакенбардами, похожий на Шуберта, в котором с первого взгляда можно было еврея и не признать, ходил по улицам Вены, изображая крайнюю занятость. Он не мог нигде остаться надолго – лишь на короткий срок друзья сумели спрятать его в небольшой психиатрической лечебнице за пределами Вены, которую он до конца жизни называл «мой зеленый дом». Там была создана большая часть стихотворений сборника «Вена 1938 – Зеленые отряды» – которому, как и сборнику «Погребок», было суждено увидеть свет лишь в послевоенной... скажем условно, *свободной Вене*, в 1946 году. Крамер в это время давно жил в Англии, и еще многие годы оставались до его возвращения в Австрию. Одно было неизменно: он продолжал писать по одному, по два, по три стихотворения в день. Если в его тетрадах нет стихов за какие-то числа, то можно смело утверждать: в эти дни поэт был болен – или что-то из его наследия пропало. Крамер был настоящим человеком привычки.

Он провел в переставшей существовать Австрии добрых шестнадцать месяцев после аншлюса, не имея фактически никаких надежд на эмиграцию. Попытка бегства в Швейцарию не удалась: развернули прямо на границе. Однако привожу в переводе с английского письмо, которое Томас Манн адресовал Британскому министерству иностранных дел (письмо от 27 апреля 1939 года):

«...Большой талант и высокие личные качества г-на Крамера сделали его одним из самых выдающихся молодых австрийских писателей. Его честность и достоинство послужат лучшей гарантией соблюдения как духа, так и буквы условий, на которых ему будет разрешен въезд на Британские острова. Со стороны нацистских властей ему грозят преследования в случае, если он будет вынужден остаться в Австрии. Прошу вас обратить на это внимание при рассмотрении его дела.

Как один из старейших немецких писателей я позволю себе, с вашего разрешения, утверждать, что Теодор Крамер – один из крупнейших поэтов младшего поколения, чье место в будущей культурной жизни Европы – если он сможет жить на свободе – обеспечено исключительными достоинствами его творчества, его интеллектом. Любое содействие, которое вы сможете ему оказать, принесет пользу не только г-ну Крамеру и его жене, но будет серьезнейшим вкладом в дело сохранения культуры и демократии».

Считается, что Томас Манн написал это письмо по просьбе друга Крамера, выдающегося поэта Эрнста Вальдингера. Письмо подействовало, и 20 июля 1939 года, за считанные недели до начала Второй мировой войны, Теодор Израэль (этого требовали документы!) Крамер в Дувре предъявил паспорт с английской въездной визой; начался отсчет дней почти восемнадцатилетнего изгнания.

Первое стихотворение, написанное в Лондоне, датировано 15 августа. В Англии ему для начала отказали в постоянном виде на жительство, однако финансовая помощь Всемирного Конгресса PEN-клуба в Лондоне хоть немного, да помогала. Но лишь до времени. 16 мая 1940 года англичане, основательно перепуганные вторжением немцев во Францию и со дня на день не без основания ожидающие победоносного штурма собственных берегов, согнали всех лиц, не имеющих английского гражданства, за двести миль к северо-западу от Лондона, в Хайтон близ Ливерпуля, где одновременно с Крамером оказались не только поэт-коммунист Куба (Курт Бартель), но также сын и внук Зигмунда Фрейда. Затем поэта перевезли в лагерь возле Дугласа (столицы острова Мэн), что как-никак было лучше, чем Дахау, куда попал непокладистый Курт Шушниц, но... концлагерь есть концлагерь: на каждого – один джутовый мешок, и приходится радоваться, что водопровод рядом, у других и того нет. Даже на идиллическом кельтском острове посреди Ирландского моря это вновь концлагерь; сюда поэта перевели 23 августа. Лишь 18 января 1941 года PEN-клуб добился освобождения поэта. Начался долгий «английский» период жизни Крамера, жизнь провинциальная, в основном скучная, но свободная, к тому же полная новых встреч и знакомств – с английской детской писательницей Элеанор Фарджон, сумевшей добиться того, чтобы поэту предоставили работу библиотекаря, с поэтом Эрихом Фридом и многими другими, к тому же Крамер вел обширную переписку (еще до «лагерей» эта переписка ненароком чуть не превратила его... в гражданина Доминиканской Республики, в библиотекаря в университете Санто-Доминго, куда он писал в мае 1939). Два года прожил Крамер на гроши PEN-клуба и скудные заработки на Би-Би-Си: он писал стихи специально для трансляции их на Германию и Австрию. Случалась в них и радость от побед «пятиконечной звезды» над свастикой. Как арийская бабушка спасла своего внука от ареста в «Остмарке», так эти стихотворения в 1970-е годы позволили начать печатать стихи Крамера и в ГДР, и в СССР: фактически раньше, чем его открыли на родине. Хотя первый раз он был напечатан в СССР еще в 1938 году, в журнале «Интернациональная литература» в переводе В. Рубина. Называлось стихотворение загадочно – «Город безработных». Работая над Крамером почти полвека, я был уверен, что оригинал этого стихотворения никогда не найдется. Однако он отыскался – причем на виду: см. в нашем издании его под «родным» названием – «Остывшие трубы». Кто переименовал? Цензура? Редактор? Голос истории молчит.

С 1 января 1943 года (иначе говоря – со своего дня рождения) Крамер становится библиотекарем в старинном Гилфорде, графство Суррей, 50 километров от Лондона; что же, могло быть хуже. Вскоре стараниями друзей-эмигрантов у Крамера в Лондоне выходит новый поэтический сборник – «Изгнан из Австрии». Человеку, привыкшему читать по-немецки, вначале трудно освоиться с отсутствием привычных ä, ö, ü, ß – и видеть вместо них ae, oe, ue, ss – но это не худшее из зол. Важно, что есть книга, и важно, что нацисты разгромлены под Сталинградом, под Эль-Аламейном, важно, что союзники вывели из войны Италию... И важно, что можно писать стихи. Ничего иного Крамер, по сути дела, не умеет и уметь не хочет. Даже расставание с женой, с Ингой Хальберштам, осенью 1942 прошло, судя по всему, спокойно.

Об Англии Крамер написал сравнительно немного, за несколькими исключениями, шедевров среди этих стихотворений нет. Сколько ни объяснялся он в любви к спасшей его второй родине, он так и остался эмигрантом, которому не приходится выбирать. Лучшие его стихи – все о том же, о тех, кто «не споет о себе», но исключительно о тех, кто остался на родине первой.

Война кончилась, однако и после войны Австрия осталась оккупированной. Оккупация, конечно, была (как и концлагерь на острове Мэн), «вегетарианская»: раздел страны на четыре части (по числу победивших союзников), Крамер вполне мог бы рассчитывать на жизнь в «британском секторе». Вместо этого, стараниями друзей выпустив в Вене две книги стихотворений, о которых речь шла выше, Крамер некоторое время размышляет... и 25 октября 1951 года принимает британское подданство. Это не случайно: из 130 тысяч «интеллигентных» австрий-

ских эмигрантов, оказавшихся в Англии, на родину за десять лет вернулись лишь 4 тысячи; оказавшийся в их числе знаменитый художник Оскар Кокошка был, сколько можно судить, единственной заметной фигурой. Не без основания эмигранты боялись превращения Австрии в очередное государство с коммунистическим режимом.

Трижды (1950, 1954 и 1957) в состоянии тяжелейшей депрессии Крамер попадает в больницу. Выходит – и возвращается к обязанностям библиотекаря. А также, конечно, к писанию стихов. К новому, очень большому сборнику «Хвала отчаянию» (подготовлен в 1946 году, вышел в свет посмертно, в 1972 году, к 75-летию со дня рождения). И постепенно складывает циклы для все новых и новых книг. Которые, увы, некому печатать, хотя осенью 1955 года войска победителей Австрию покинули. Наконец, в 1956 году, в Зальцбурге, стараниями поэта Михаэля Гуттенбруннера выходит книга избранных стихотворений Крамера – «О черном вине». Книга немного жульническая: в избранное из прежних сборников прибавлено немало новых, никогда не печатавшихся. Гуттенбруннер знал, до какой степени хочется Крамеру увидеть в печати именно новые стихи. Крамер все чаще возвращается к жанру пейзажной лирики, которым владел изумительно – но не злоупотреблял: он предпочитал писать о живых людях. Даже пейзаж заброшенного сельского кладбища, на крестах которого нет ни единой строки, – этот пейзаж все равно населен теми, кто жил на этой земле и кто лег в нее.

Обратим внимание, что очень многие, и часто лучшие его стихотворения не попадали не только в книги Крамера, но даже в их рукописные проекты. Сохранились свидетельства о том, как в Англии слушательницы сбегали с его выступлений, услышав, допустим, стихотворение о венском борделе, поэт не ограничивал себя ни в сюжетах, ни в лексике. Стихи, к счастью, уцелели, хотя кто знает, что автор мог уничтожить или потерять, да и опять-таки, что лежит в архиве.

26 сентября 1957 года совершенно больной Крамер все-таки возвращается в Вену, чтобы прожить немногие оставшиеся ему месяцы в комнате, принадлежащей министерству народного просвещения. 1 января 1958 года лично будущий федеральный канцлер Австрии Бруно Крайский назначает ему почетную «пожизненную пенсию». Но, как всегда, всё – слишком поздно; известно лишь несколько кратких стихотворений, созданных уже в Вене. 3 апреля того же года после внезапного инсульта Теодор Крамер умирает. В мае того же года ему посмертно присуждается та же премия, с которой некогда начиналась его литературная карьера – Премия города Вены. Огромный архив Крамера остается на попечении молодого друга, с которым Крамер познакомился в Англии – Эрвина Хвойки (1924–2013).

Эрвин Хвойка в 1960 году даже сумел издать еще одну книгу стихотворений Крамера – «...а кто-то расскажет» (книга составлена почти исключительно из того, что печаталось только в периодике). Потом – молчание, и лишь в семидесятые годы к Крамеру начинает пробуждаться интерес читателей. Не буду отвлекать внимание перечислением книг, вышедших в 70-е годы XX века, но перелом наступил вместе с выходом книги документов и биографических материалов по Крамеру («Поэт в изгнании», Вена, 1983, книгой избранного «Шарманка из пыли» (Мюнхен, 1983) и уже не единожды упоминавшимся трехтомником (1983–1987), позже к вошедшим в него стихотворениям добавилась еще сотня или две, но главное дело было сделано: Теодор Крамер наконец-то занял свое место в пантеоне великих поэтов Европы.

Однако даже для читателя, говорящего по-немецки от рождения, читать Крамера – непростое дело. Почти каждый его сборник сопровождался небольшим словариком, разъясняющим слова, употребленные поэтом в тексте. Иные из них по объективным причинам давно вышли из употребления – такие, как «ремонтер», что в армии означало человека, обязанного следить за состоянием здоровья и боеспособности лошадей и своевременной их подмене; иные – как «пилав» (сладкий плов), «мет» (мёд), «физиоле» (фасоль), «крен» (хрен) понятней русскому уху, чем немецкому; иные – «марилле» (абрикос), «парадайзер» (сорт помидоров), «мост» (забродивший виноградный сок) – скорей разговорные австрийские или южнонемец-

кие реалии, обиходные слова, чем нормативная лексика; чисто венский итальянизм «трафикант» (торговец сигаретами) – и это не считая сотен совершенно специфических слов из профессиональной лексики, от терминов работы шелушильщиков орехов и торговцев свиной щетиной – до слов, которые внесла в жизнь Крамера вынужденная эмиграция («фиш энд чипе», «стаут», «блэкаут» и т. д.). Нелегко читателю, еще хуже переводчику, хотя после первой сотни стихотворений начинаешь понимать и то, чего в словарях стыдливо нет. Герои Крамера удивительно похожи на героев Брехта времен «Домашних проповедей»: повези чуть больше в жизни крамеровским Марте Фербер, Барбаре Хлум, Нозефе – глядишь, получилась бы у них жизнь как у брехтовской Ханы Каш... да вот не получилась; Билли Холмс только тем и отличается от полоумного брехтовского Якоба Апфельбека, что он своего папашу не сам убил, а льдом обложил, чтобы его пенсия не прервалась; наконец, немногие еврейские персонажи Крамера (старьевщик Лейб Хиршкрон, торговец мылом Элиас Шпатц, разносчик жестяного товара Мойше Розенблит – в оригинале «Фогельхут», но уж тут пусть простит меня читатель, фамилию пришлось поменять, как и имя самоубийцы Арона Люмпеншпитца пришлось поменять на «Лейба») словно сошли даже не со сцены Брехта, а со страниц его «Трехгрошового романа». Трудно сказать, насколько были поэты знакомы с творчеством друг друга. Однако жизнь выпала им, ровесникам, почти одинаковая, довольно короткая, эмигрантская и вовсе не радостная. И стихи Крамера, тысячи коротких баллад и зарисовок, складываются в огромную панораму европейской жизни двадцатых, тридцатых, сороковых годов XX века. Это – ни в коем случае не жалкий жанр «человеческого документа», это – творение мастера, всю жизнь стремившегося написать о тех и для тех, кто сам о себе никогда не напишет, чья жизнь канет в забвение на второй день после их смерти. Герои его говорят на том языке, какой только и знают. А Крамер всю жизнь только и хотел, что «быть одним из них»: и это ему удалось.

Крамер знал не столько венские кафе, сколько мелкие трактиры и шалманчики в пригородах и деревнях. Любимые слова Крамера: пыль, копоть, ржавчина и им подобные встречаются в его стихах тысячи раз. Он многократно словно пытается написать на одну и ту же тему какое-то свое «главное» стихотворение, причем изредка это ему удается: второй раз писать о бунте в лепрозории он вроде бы не стал. Или стал? Кто знает, четыре пятых его наследия все еще остаются неизданными и, кажется, после смерти Эрвина Хвойки никто этими публикациями больше не занимается. Едва ли нынешнее поколение прочтет существенно больше того, что уже опубликовано, но пока что есть, то есть. Слабым утешение служит то, что стихи, написанные Крамером в последнее десятилетие в жизни, пожалуй, слабее более ранних, но пусть с этим разбираются грядущие поколения.

Надо заметить: во всех работах о Крамере говорится о том, что стихи он писал с детства и безуспешно пытался то там, то здесь печататься. Однако в его современных изданиях нет ни единого произведения, которое датируется более ранней датой, нежели 1925 г. Исследователь творчества Крамера Константин Кайзер прямо указывает, что стихи Крамера от 1919–1925 года то ли не сохранились, то ли сознательно были автором уничтожены. Есть основания думать, что в юности поэт искал собственный стиль, и косвенным доказательством этому служит самый ранний из доступных нам циклов – «Чума» (1925), поэтика которого куда больше напоминает Георга Гейма и Готфрида Бенна, чем творчество самого Крамера.

Крамер нередко писал о себе, определенно не принадлежал ни к иудаизму, ни к христианству, но в день памяти матери неуклонно зажигал поминальную свечу, а его стихотворение «Вена. Праздник Тела Христова, 1939» – возможно, вообще лучшее антифашистское стихотворение в австрийской поэзии, как и крамеровский же «Реквием по одному фашисту» (фашист – выдающийся австрийский поэт Йозеф Вайнхебер, покончивший с собой в 1945 году). Ключом к его пониманию роли поэта оказывается стихотворение «Фиш энд чипс» (т. е. «рыба с картошкой» в ее скудном английском варианте военного времени, когда еще не умерла традиция вываливать блюдо во вчерашнюю газетку и есть руками). Поэт просит в нем не

посмертной славы – хотя, конечно, «...не худо бы славы, / Да не хочется славы худой» (И. Елагин) – а... «рыбы с картошкой», в час, когда протрубит труба Судного Дня.

Горстка рыбы с картошкой в родимом краю —
все, кто дорог мне, кто незнаком,
съешьте рыбы с картошкой в память мою
и, пожалуй, закрасьте пивком.
Мне, жившему той же кормежкой,
бояться ли судного дня?
У Господа рыбы с картошкой
найдется кулек для меня.

Прочтите книгу Теодора Крамера, почти полвека переводившуюся мною, и помяните, российские читатели, самого скромного из поэтов Австрии именно так, как он завещал.

Это не извечное «забудьте меня, сожгите после моей смерти все мои рукописи» (все одно человек умирает с надеждой, что эту его волю никто не исполнит, как и случилось с Горацием, с Кафкой, с Набоковым). Крамер отлично знал, что для его стихов время настанет. Может быть, не думал он разве что о том, что его стихи раз за разом будут выходить в переводах на другие языки, прибавляя ему все новых почитателей: лишь на русском языке отдельное издание произведений Крамера уже третье.

Так что есть лишь скромная просьба – «помянуть». И точное указание – как и чем.

Так помянем же.

Твое здоровье, читатель.

Евгений Витковский
1973–2019

Из сборника «Условный знак» (1929)

Внаймы

Я ушел из города по шпалам,
мне – шагать через холмы судьба,
через поймы, где над красноталом
одиноким кличут ястреба.
Рук повсюду не хватает в поле;
как-нибудь найдется мне кусок.
Но нигде не задержусь я доле,
чем стоит на пожне колосок.

Если бродишь по долине горной,
среди корчевщиков не лишней ты;
в хуторах полно работы шорной,
всюду в беспорядке хомуты.
На усадьбах рады поневоле
ловкой да сноровчатой руке.
Но нигде не задержусь я доле,
чем зерно в осеннем колоске.

Принялись давилыщики задело,
потому как холод на носу.
Я гоню первач из можжевела,
пробу снять заказчику несу.
Любо слышать мне, дорожной голи,
отзывы хозяев о вине.
Но нигде не задержусь я доле,
чем сгорает корешок в огне.

1927

Хлеба в Мархфельде

В дни, когда понатыкано пугал в хлеба
и окучена вся свекловица в бороздах,
убираются грабли и тачки с полей
и безлюдное море зеленых стеблей
оставляется впитывать влагу и воздух.

И волнуется хлеб от межи до межи, —
только в эти часы убеждаешься толком,
как деревни малы, как они далеки;
и трепещут колючей листвой бодяки,
лубенея на пыльном ветру за проселком.

Постепенно в пшенице твердеет стебло,
избавляются зерна от млечного сока;
а над ровным простором один верболоз
невысокие кроны вдоль русел вознес,
отражаясь в серебряной глади потока.

Только хлеб в тишине шелестит на ветру
да кузнечик звенит, — вся земля опочила;
лишь под вечер, предвидя потребу косьбы,
деревушки, в прозрачной дали голубы,
на часок оглашаются пеньем точила.

1928

Год винограда

Лоза в цвету – всё гуще, всё нарядней,
долина по-весеннему свежа;
я коротаю год при виноградне,
определен деревней в сторожа.
Почую холод – силу собираю,
зову сельчан, всю трублю в рожок:
раскладывайте, мол, костры по краю,
палите всё, что просится в разжог.

Лоза в листве, черед зачатся гроздам,
страшили позамотаны в тряпье;
меж тыкв уютно греться по бороздам,
лесс налипает на лицо мое.
Харчей промыслю за каменоломней, —
где прячусь я, не знает ни один, —
колени к подбородку, поукромней,
и засыпаю, обхвативши дрын.

Зреют грозды, множится прибыток, —
тычины подставляю; где пора,
сметаю с листьев и даблю улиток,
меж тем в долине – сенокос, жара.
Слежу – не забредет ли кто нездешний,
лещину рву, хоть и негуст улов,
грызу дички да балуюсь черешней
и дудочкой дразню перепелов.

Созрели грозды, и летать не впору
объевшемуся ягодой скворцу;
пусть виноградарь приступает к сбору,
а мой сезонный труд пришел к концу.
Всплывает запах сула над давилей,
мне именно теперь понять дано:
чем урожайней год, чем изобильней,
тем кровь моя зреее, как вино.

1927

В лёссовом краю

Под листвою – стволы, под колосьями – лёсс,
под корнями – скала на скале;
вот и осень: от ветра трещат кочаны,
и соломинки клевера в поле черны, —
изначальность приходит к земле.

Что ни русло – обрыв, что ни устье – овраг
(только чахлая травка вверху);
проступают в кустарниках древние пни,
и буреют утесы, как будто они
лишь сегодня воздвиглись во мху.

Створки древних моллюсков под плугом хрустят
в темном мергеле, в лёссе, в песке;
под побегами дремлет гнилая сосна,
виноградник по склонам течет, как волна,
и кричит коростель вдалеке.

1927

Последнее странствие

Бродяжничество долгое мое!
К концу подходит летняя жара.
Пшеница сжата, сметано стожье
и в рост пошли по новой клевера.

Благословенны воздух и простор!
Орляк уже не ранит стертых ног;
рокочет обезьягодевший бор,
и вечером всё чаще холодок.

Я никогда не ускоряю шаг,
не забредаю дважды никуда;
мне всё одно – ребенок и батрак,
кустарник, и булыжник, и звезда.

1927

Последняя улица

Эта улица, где громыхает трамвай
по булыжнику, словно плетется спросонок
прочь из города, мимо столбов и собак,
мимо хода в ломбард, мимо двери в кабак,
мимо пыльных акаций и жалких лавчонок.

Мимо рынка и мимо солдатских казарм,
прочь, туда, где кончаются камни бордюра,
далеко за последний квартал, за пустырь,
где прибой катафалков, раздавшийся вширь,
гроб за гробом несет тяжело и понуро.

И в конце, на последнем участке пути,
вдруг сужается, чтобы застыть утомленно
у ворот, за которыми годы легки,
где надгробия и восковые венки
принимают прибывших в единое лоно.

1928

Условный знак

Проселком не спеша бреду.
Гадючий свист на пустыре.
Поди-ка утаи нужду,
дыра в одежке на дыре.
Так от дверей и до дверей
бреду с утра и до утра
и только горстку сухарей
прошу у каждого двора.

А кто не даст ни крошки мне,
того нисколько не браню,
рисую домик на стене,
а сверху дома – пятерню.
Здесь не хотели мне помочь —
смотрите, вот моя рука.
Заметят этот знак и в ночь
сюда подпустят огонька.

1927

«Если хочет богадельщик...»

Если хочет богадельщик
наскрести на выпивон,
то, стащивши из кладовки
инструменты и веревки,
на пустырь выходит он.

Там, где падаль зарывают,
можно выкопать крота.
Воронье орет нещадно
и, хотя уже прохладно,
голубеет высота.

Богадельщик в землю тычет
то лопатой, то кайлой,
он владельца шкурки гладкой
зашибает рукояткой,
чтобы сразу дух долой.

Опекун скандалить станет —
нализались, подлецы!
С кротолова взятки гладки,
лишь винцошибает в пятки
хмелем затхлой кислецы.

1927

Ужин

Над домом вечер тяжело сник.
Скоблит колоду ученик
и соскребаёт со столов
ошметья сала и мослов.

Шумят в пекарне за стеной,
повсюду тяжкий дух мясной,
рабочий фартук, кровью сплошь
загваздан, стал на жесть похож.

Он замер с тряпкою в углу;
он видит, как бредет к столу
мясник – старик, но будь здоров —
и двое старших мастеров.

Зовут: мол, скромника не строй.
На блюде – шкварки; пир горой.
Хозяйский пес слюну пустил.
Тут парню не хватает сил.

Он видит тучи синих мух,
он чует хлева смрадный дух.
Блестит прилавок, словно лак,
рука сжимается в кулак.

Один из младших мясников
глядит на парня: ишь каков, —
и, поучить решив уму,
дает затрещину ему.

Багровый след во всю скулу;
парнишка тащится к столу
и там, себя в руках держа,
глядит на лезвие ножа.

1927

Кровать

И после скитаний, и после труда,
днем, вечером, ночью – короче, всегда
с терпеньем кровать ожидала меня,
собой половину жилья утесня.

От сырости и от мороза не раз
спасал меня этот подгнивший матрас,
хотя с голодухи качало порой,
хотя надувался водою сырой.

Но, видно, пришли окаянные дни —
торчат у стены только козлы одни.
О место, где прежде стояла кровать, —
здесь женщинам долго уже не бывать!

Укрой, схорони! Возврати мне мечту,
мой потный матрас у меня в закуту.
Ложусь и в отчаяньи пробую я
дождаться шарманщика Небытия.

1927

Мотыга, заступ, долбня

На двор нисходит вечер, и почти
совсем темно становится в клети.
Запылены, в последнем свете дня
стоят мотыга, заступ и долбня.

Мотыга не ходила со двора,
картошку рыла с самого утра.
Хозяйка с ней весь день трудилась впрок,
и вот мешки набиты по шнурок.

И заступ тоже чести не ронял,
он целый день дорогу починял.
Его под вечер, вымотан всерьез,
хозяин сгорбленный сюда принес.

В карьере наработалась долбня,
мельчила честно крошево кремня.
На небе день как раз сменился тьмой,
хозяйский сын долбню принес домой.

Домой вернулись трое, все в пыли,
свой инвентарь, понятно, принесли.
Семья в дому, и дремлют взаперти
мотыга, заступ и долбня в клети.

1927

Комнатный маляр

Покрасил много комнат я —
и нынче тем же занят;
бывает, выйду из жилья —
вмиг неуютно станет,

На потолочных балках грязь,
проела плесень дранку;
всего-то дел – грунтуй да крась,
передвигай стремянку.

Стена под краскою густой
шипит и пузырится,
и пахнет от ведра бедой,
глинтвейном и корицей.

Пусть ваша выберет семья:
что в спальне, что в гостиной;
покрасил много комнат я —
не жил бы ни в единой.

1927

Песня по часам

К восьми над рынком – тишь, теплынь;
как сода, день истаял в синь;
в навозе тонут воробьи,
сидит громила в забыти
у стойки.

Сойдется в десять цвет пивнух,
в гортань ползет коньячный дух;
товар панельный в сборе весь,
но за деньгой в карман не лезь —
обчистят.

Вот полночь: напоздает мрак,
кто мерзнет – нюхает табак;
наизготовку – сталь ножа,
от жалости к себе дрожа,
раскиснешь.

Горчинка – два часа утра,
для шлюх – последняя пора.
Вконец пустеет тротуар.
Плати: додешевел товар
до точки.

Четыре: день недалеко;
хлеб вынут, скисло молоко,
бредет домушник и, журча,
течет пьянчужечья моча:
о Боже.

1927

Двое затравленных

Мой братец Мойше Люмпеншпитц,
ответь: ну почему
ты удавился, – чтобы
теперь меня трясло бы
среди улиц и в дому?!

Я опасался за тебя:
торгуя, ты молчал,
был очень независим,
но груды злобных писем
так часто получал.

Ты стал, как зверь в своей норе,
и дик, и одинок:
ты вздрагивал от звона
злодея-телефона
и трубку снять не мог.

Ты дверь на стук не открывал, —
о, ты хлебнул с лихвой;
тряслись мои поджилки,
но я носил посылки
в дом зачумленный твой.

А что лежало, Мойше, в них,
ну что за чепуха?
В четверг – хвосты крысиные,
а в пятницу – гусиные
гнилые потроха.

Я слух воскресный счел одной
из худших небылиц, —
кто мог бы знать заранее?
Повесился в чулане
ты, Мойше Люмпеншпитц.

Со страху, Мойше Люмпеншпитц,
легко в удавку влезть.
Кровь холодеет в жилах,
и я давно не в силах
не выпить, ни поесть.

Ты был со мной, я был с тобой;
ответь: ну почему
ты удавился, – чтобы

взамен меня трясло бы
среди улиц и в дому?!

1927

Рента

Джон Холмс и Билл, его сынок,
уютно жили; шла
по почте рента Джону в срок —
тридцатого числа.
Случился грустный номер —
родитель взял да помер;
такие вот дела.

«Джон Холмс, я так тебя любил;
без ренты мне – беда!»
И вот папашу робкий Билл
обклат кусками льда.
Заклеил щели, фортки,
темнела в белом свертке
отцова борода.

Билл закупал двоим еду —
отец хворает, чай.
Воняло, – Билл на холоду
варганил завтрак, чай.
А почтальон клиенту
носил всё ту же ренту:
ну что ж, хворает, чай.

Уже зима недалеке,
а Холмсы всё вдвоем,
Билл – в уголке, Джон – в леднике,
и каждый – при своем.
На дверь, на стены, на пол
сынок духов накапал
и замерзал живьем.

«Джон Холмс, – шептал ночами Билл, —
любимый мой отец!
Тебя я вовсе не убил,
мне жаль, что ты мертвец.
Не зачервивь, не надо,
ведь я рехнусь от смрада,
коль ты сгниешь вконец».

И все-таки пришел каюк
терпению сынка.
Джон Холмс во всё, во всё вокруг
проник исподтишка...
Нашли висящим Билла;

и рента, видно было,
торчит из кулака.

1927

Отчет по поводу смерти торговца- надомника Элиаса Шпатца

I

Элиас Шпатц – умелый оптовик.
Вот он идет домой; он небогат,
тут мыло штабелями – он привык:
еще чего – платить деньгу за склад?

Но день еще не кончен, как назло;
отмыть непросто потные следы,
и ящики ворочать тяжело,
чтоб взять из рукомойника воды.

II

Гешефт сегодня – ничего себе;
пусть пахнут мылом небо и земля, —
Элиас Шпатц к себе приводит «бэ»,
и надо проползти за штабеля.

Элиас Шпатц, да ты герой на вид!
Разденься да в постель скорее влезь!
Но девка всё испортить норовит:
«Элиас Шпатц, чем так воняет здесь?»

III

Элиас Шпатц удачлив, потому
растут запасы у него в гнезде;
но лишь для мыла место есть в доме.
Раздеться бы, умыться – только где?

Элиас Шпатц, окончивши дела,
идет в кабак топить тоску в питье,
но сливовица мало помогла:
замерз под утро в парке на скамье.

1927

Из сборника «Календарь» (1930)

О великом холоде накануне нового 1929 года

На Святого Стефана¹ пришли снегопады,
завалило распадки, дома, палисады,
и над плавнями, белый настил распуша,
стекленела и стыла стена камыша.

Встала стужа, колодцы до дна проморозив,
у саней отставала оковка полозьев;
старики говорили, что, мол, никогда
не случалось такие видать холода.

Ветер льдисто хрустел в человеческом горле,
батраки простужались и наскоро мерли;
задубевший, обглоданный труп оленька
отыскался у самых дверей кабака.

Звезды, вестники долгой морозной погоды,
озирали озимых убитые всходы,
виноградники, сгинувшие в холоду,
и озерную гладь, что лежала во льду.

В полыньях, не умея добраться до суши,
били крыльями и примерзали крякуши,
и любой, кто решался дойти по снежку,
их легко набирал в камышах по мешку.

1929

¹ 26 декабря.

Зимняя оттепель

Выдается тепло в середине зимы:
застилагается всё пеленой дождевою,
оживают ручьи этой странной порой,
и топорщится жнива стернею сырой,
и гуденье идет сквозь еловую хвою.

Отступают снега, и увидеть легко,
как под паром покоятся мрачные зяби,
как на старых покосах гниют клевера,
как погрызена зайцами в рощах кора,
ибо дочиста съелись остатки кольраби.

Сучья, стужей отбитые, наземь летят;
свекловица, что на поле сложена с лета,
раскисает и пенится бурт за буртом,
чтобы смрадом горячим окутать потом
чуть обсохшие ветви кустов бересклета.

Что ни день, то хозяйству разор да урон —
мокнут ветошь и пакля под черной соломой;
от села до села – непролазная грязь,
и в тумане плывет, всё мрачней становясь,
солнца, странно разбухшего, шар невесомый.

1928

Затопленная земля

От весеннего ветра чернеют луга,
постепенно темнеют и тают снега,
но канав не хватает; кипит и бурлит,
набухает растаявшим снегом земля
и уходит под полую воду.

Дамбы хмуро застыли по горло в воде,
вся равнина блестит, – лишь межа кое-где
разрезает на ломтики мутную гладь;
крест над церковью будет в закате пылать,
осенняя весеннюю воду.

Далеко друг от друга стоят хутора,
через ил продираются лодки с утра;
воздух сладок и тих, и чиста синева,
ветер гонит волну, и густая трава
прорастает сквозь мутную воду.

1930

Майские костры

Приходит май, и в час ночной
чисты над кряжем небеса;
но ударяют холода,
и вот кристалликами льда
впотьмах становится роса.

Протяжно рогу вторит рог,
тревогою звучат они;
спешат на склоны сторожа,
и разгораются, дрожа,
вкруг виноградников огни.

Затем в долины дым ползет,
отходит холод в высоту,
огонь мужает, – вот уже
теплее от межи к меже,
где дремлют деревья в цвету.

Туманя кипень лепестков
высоких, озаренных крон,
спасенье гроздьям молодым
приносит сладковатый дым,
струящийся со всех сторон.

1929

Светлое время

Повсюду стало так светло,
краснопогодью нет конца,
и в отдаленье тяжело
грохочет молот кузнеца.
Вьюнком оделась городьба;
с утра отец и старший сын
сходили глянуть на хлеба,
гумно готовят и овин.

Батрак перестелил крыльцо,
передник вздел и чинит воз,
медлительно, заподлицо
клепает ободы колес.
Батрачка, выйдя за порог,
скоблит кувшин очередной;
хозяйка мастерит пирог
с перекопченной ветчиной.

Уже опростана подклеть
от вялых, сморщенных картох;
теперь бы солнышку пригреть,
чтоб клубень посевной подсох.
Весенний дух царит в дому,
и в погребе, и в кладовой,
и близок, ясно по всему,
черед работы полевой.

1928

Летние тучи

В самый жар, в тишине разомлевшего дня,
на мгновение солнце закатится в тучи,
и мрачнеют луга, и, во мгле возлежа,
долговязой крапивой трепещет межа,
и ознобом исходят окрестные кручи.

Обрывается в роще долбежка желны,
колокольцы отары молчат виновато;
лишь ракитовый куст зашумит невзначай
да протянется к небу сухой молочай,
увязающий комлем в земле кисловатой.

Выступает тягучими каплями сок
на репейниках в каждой забытой ложбине;
всё дряблее межа, бузина всё мертвей,
как чешуйки, жучки опадают с ветвей
и, запутавшись, мухи жужжат в паутине.

Даже осенью почва куда как жива
по сравнению с этой минутой в июле;
прогибаются тучи, и видно тогда,
как в забытом пруду загнивает вода,
где на ряске стрекозы от зноя уснули.

1928

Облава

Стерня почерствела на бедных покосах,
жухлеют и сухо шуршат ковыли;
и столб межевой, будто нищенский посох,
торчит одиноко в прибитой пыли.
Пичуги кричать начинают с рассвета,
кустарник неспешно скудеет листвою;
никак не кончается долгое лето,
всё блещет в осоках густой синевой.

Еще и не пахнет осеннею стужей,
но вызрел шуршащий в коробочках мак,
но слышится лязг заряжаемых ружей,
но лают залиvisto своры собак,
но ругань веселая рвется из глоток,
сужаются кругом следы сапогов;
взлетают дымки, и под грохот трещоток
топорщится шерсть обреченных лугов.

Над полем буреющим – тьмы перепелок,
к подранкам по выстрелу мчат сеттера,
и кроличий бег хоть и быстр, да недолог —
для гончих в привычку такая игра.
И солнце слепит, и подходит охота
к концу... Вот и выстрелы смолкли вдали,
и запахи пороха, крови и пота
смешались с туманом вечерней земли.

1928

«Вот-вот желтизной озарятся отавы...»

Вот-вот желтизной озарятся отавы,
для солнца последние сроки прошли,
цветы облетели, повыщвели травы
и ждут возвращения в лоно земли.
Солома по кромке лесов изветшала,
орляк зачервивел за несколько дней,
топорщится, будто гнилое мочало,
на пахоте ворс пересохших корней.

Покривлены межи, затоптано всполье,
в стерне шебуршит полевое зверье;
угрюмо скрипит на ветру частоколье,
и шершень в гнездо заползает свое.
Ежи в терновище готовятся к спячке,
у рытвин покрыто испариной дно;
полевки по-тихому тащат в заначки
стручки и забытое в поле зерно.

Еще доцветают выюнки у калиток,
но скоро и жниво, и жухнувший луг,
лишая прибежища сонных улиток,
распорет на комья безжалостный плуг.
Налеплены соты, курятся лощины,
с рассвета одета в ледок борозда;
рыжеют холмы, и на выгон общинный
в недалнее время сойдут холода.

1928

Зима зимой

В окошках потускнели стекла,
погасли угли очага;
тропа раскисла и размокла
покрылись копотью снега.

Порыву ветра с луговины
не разогнать рассветной мглы;
зайчатами до сердцевины
в саду обглоданы стволы.

Ничто не шелохнет украдкой,
простыл тепла последний след;
мороз вцепился мертвой хваткой
и на него управы нет.

1928

Из сборника «Трясинами встречала нас Волынь» (1931)

«Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые...»

Когда на фронт мы ехали мы ехали впервые
в вагоне для рогатого скота,
нам так мешки мешали вещевые,
нас так томили вонь и духота.
В петлицах вяли пошлые цветочки, —
попробуй-ка в теплушке не сопрей;
и теребили мы поодиночке
пайковые пакеты сухарей.

Мы видели меж досок временами
то изгородь, то дом, то сеновал,
рукой подать до воли, — но за нами
надзор, понятно, не ослабевал.
Хотя и был просвет обидно тонок,
но с жадностью глядели мы, юнцы,
на сказочные лакомства лавчонок —
сухие крендельки и леденцы.

Лишь осознав, что избежать не можем
дороги этой, под покровом тьмы,
устав и в месте облегчась отхожем,
помалу успокаивались мы.
Затем, свернувши валик плащ-палатки,
устроившись на ледяном полу,
ныряли мы, играя с жизнью в прятки,
в забвение и радостную мглу.

1930

«Угрюмо сорняком обсажен черным...»

Угрюмо сорняком обсажен черным,
дремал в долине переложный луг,
неспешно заволакивался дерном,
и с голоду над ним орал канюк.
Дотаял снег и обнажил суглинки —
все борозды, что некому полоть;
как жалкий ворс, топорщились травинки,
а воздух всё светлел до мая вплоть.

Пока не приключился день дождливый;
для сорняков настала благодать:
понаросло полыни и крапивы,
да так, что даже почвы не видать.
Цвела пастушья сумка, стебли спутав,
грубел чертополох, и без конца
висел над логом крик сорокопутов,
расклевывавших заросли горца.

В осиных гнездах умножались соты;
неукротимо крепили сорняки,
и местности обычный дух дремоты
навеивали только сосняки.
Осотом щеголял любой пригорок,
кружили семена и мошकारа,
и диковато, как полночный морок,
смотрели из лощинок хутора.

1929

Разоренные земли

Прodelав марш средь сосняков на кручах,
мы очутились в выжженной стране,
где в проволоках рваных и колючих
торчала головня на головне.

Лишь очень редко стебелек пшенички
вдали качал метелкою простой;
и как-то неохотно с непривычки
мы приходили в хаты на постой.

Там жили полнотелые русинки
к одним в придачу дряхлым старикам,
война, однако, провела морщинки
по женским лбам, и шеям, и щекам.
И если кто из нас до икр дебелых
оказывался чересчур охоч,
то видел, как ряды цепочек белых,
гирлянды вшей, в траву сбегали прочь.

Нелегкий путь безропотно протопав,
в палатках засыпали мы вповал,
а свет луны тянулся до окопов
и никаких границ не признавал.
Лишь не спалось в хлевах голодным козам,
они до рани блеяли с тоски,
покуда легким утренним морозом
нам ветер не прихватывал виски.

1929

«Трясинами встречала нас Волынь...»

Трясинами встречала нас Волынь,
пузырчатыми топиями; куда
ни ткни лопатой, взгляд куда ни кинь —
езде сплошная цвеляя вода.
Порою тяжело ухал миномет,
тогда вставал кочкарник на дыбы,
из глубины разбуженных болот
вздymались к небу пенные столбы.

Угрюмый профиль вязовой гряды
стволами оголенными темнел
у нас в тылу, и черный блеск воды
орудиям чужим сбивал прицел.
Позиция была почти ясна.
Грязь — по колено; яростно дрожа,
сжирала черной пастью глубина
все робкие начатки дренажа.

В нее, как в прорву, падали мешки,
набитые песком; и отступил,
покуда кровь стучала нам в виски,
кавалерийский полк в глубокий тыл.
Мы пролежали до утра плашмя,
держась над черной топью навесу,
и до утра, волнуя и томя,
пел ветер в изувеченном лесу.

1929

«Мы улеглись на каменной брусчатке...»

Мы улеглись на каменной брусчатке
в потемках очень тесного двора,
где фуры громоздились в беспорядке.
Вдали угрюмо ухали с утра
орудия, – но сколько там ни ухай,
однако нас на отдыхе не тронь;
и мы лежали, с вечера под мухой,
вдыхая застоявшуюся вонь.

А в лоджиях, со сна еще не в духе,
лишь наскоро перестирнув белье,
почти что нагишом сновали шлюхи
и напевали каждая свое.
И лишь одна – на самом деле пела,
да так, что хмель бродящего вина
выветривался напрочь; то и дело
покачивала туфелькой она.

И, чем-то в песне, видимо, волнуем,
пусть ко всему привыкший на войне,
вдруг встал один из нас и поцелуем
почтительно прильнул к ее ступне;
гром пушек нарастал, но, встав с брусчатки,
мы тот же самый повторили жест,
смеясь, и вновь легли на плащ-палатки
в потемках, растекавшихся окрест.

1930

Винтовки в дыму

В конце дневного перехода
по склону вышли мы к селу;
на виноградню с небосвода
ночную нагоняло мглу.
Зачем не провести ночевки
среди шелковиц и старых лоз?
И пирамидами винтовки
поставил в темноте обоз.

И, отгоняя горный морок,
костер сложили мы один
из лоз, из листьев, из подпорок,
из обломившихся жердин.
Рыдая глухо, как с досады,
на пламя ветер злобно дул,
почти лизавшее приклады
и достававшее до дул.

Одну усталость чуя в теле,
сейчас от родины вдали,
уже не думать мы умели
о горестях чужой земли.
Мы грелись им, необходимым
теплом обуглившихся лоз,
и веки разъедало дымом —
конечно, только им — до слез.

1930

Ночь в лагере

Часовой штыком колышет,
с хрустом шествуя во мраке;
нездоровьем вечер пышет,
наползая на бараки.
Приближая час полночный,
тени древние маячат;
у канавы непроточной
с голодухи крысы плачут.

Полночь проволоку ржавит,
шебурша ночным напилком;
и патрульный не отравит
жизни мошкам и кобылкам.
Ну не странно ли, что травы
зеленеют с нами рядом,
там, где грозные державы
позабыли счет снарядам!

Слушай, как трещат семянки!
Чтоб рука не горевала,
тронь винтовку и с изнанки
проведи вдоль одеяла!
Чуток будь к земному чуду!
Память о добре вчерашнем
дорога равно повсюду
и созвездиям, и пашням.

1928

Лошади под Деллахом

У полка впереди перевал, и пришлось
избавляться в дороге от пушек тяжелых,
а купить фуража на какие шиши?
Интендант покумекал и стал за гроши
продавать лошадей во встречавшихся селах.

По конюшням крестьян началась теснота,
ребра неуков терлись о дерево прясел;
но в зазимок поди прокорми лошадей, —
становились они что ни день, то худей
и глодали от голода краешки ясель.

Позабыв о грядущих вот-вот холодах,
воспрядали от сна оводов мириады,
чуя пот лошадиный, и язву, и струп,
и клубами слетались на храп и на круп,
сладоострастно впуская в паршу яйцеклады.

На корчевку, на вспашку гоняли коней, —
словом, жребий крестьянской скотины несладок;
но иные сбежали, — идет болтовня,
мол, за Дравой к исходу осеннего дня
слышно ржание беглых, свободных лошадок.

1928

Демобилизация

На узловой ссадили ополченца
уже почти в потемках, как назло;
забравши скатку, шлем и всё такое
казенное, оставили в покое:
отвоевал, вали к себе в село.

Туда, где свет единственный маячил,
поплелся парень – к городской черте:
но получил жердиной по макушке —
и, не найдя ни торбы, ни горбушки,
он оклемался в полной темноте.

В предместье всё закрытым оказалось:
стояла ночь, уже совсем глуха.
Какой-то дворник сжалился над малым,
пустил поспать в углу за сеновалом
и разбудил до крика петуха.

За городом земля вконец раскисла,
но малый потащился большаком
к себе домой, измотанный и хмурый, —
он так и не нашел попутной фуры
и всю дорогу прошагал пешком.

В который раз на придорожный камень
присел он много времени спустя
и увидал, закашлявшись с одышкой,
село родное, крестик над церквешкой —
и понял, что рыдает, как дитя.

1929

Художник

Прокорма не стало, обрыдли скандалы,
ни денег, ни хлеба тебе, ни угля;
покашлял художник, сложил причиндалы —
и кисти, и краски – и двинул в поля.
Он всюду проделывал фокус нехитрый:
пришедши к усадьбе, у всех на виду
вставал у холста с разноцветной палитрой
и тут же картину менял на еду.

Он скоро добрел до гористого края
и пастбище взял за гроши в кортону,
повыскреб замерзший навоз из сарая,
печурку сложил в обветшалом доме,
потом, обеспечась харчами и кровом,
на полном серьезе хозяйство развел:
корма запасал отощавшим коровам
и загодя всё разузнал про отел.

Порой, уморившись дневной суматохой,
закат разглядев в отворенном окне,
он смешивал известь с коровьей лепехой
и, взяв мастихин, рисовал на стене:
на ней возникали поля, перелески,
песчаная дюна, пригорок, скирда, —
и начисто тут же выскабливал фрески,
стараясь, чтоб не было даже следа.

1929

Военнопленный

Он в горы с конвоем пришел, к сенокосу,
в мундире еще, чтоб трудился, как все,
покуда хозяин спасает державу, —
расчистил бы непашь к осенней росе,
чтоб истово пни корчевал в непогоду,
справлял бы в хозяйстве любую нужду,
чтоб в зимние ночи, хозяйке в угоду,
по залежи горестной вел борозду.

Однако на фронте поставили точку,
хозяин вернулся: такие дела.
Хозяйка ему подарила сорочку
и с грушами штрудель в дорогу спекла.
Вот тут ему шкуру как раз да спасти бы,
не место в хозяйском доме чужаку, —
но год, проведенный средь горной усадьбы,
развевал по родине дальней тоску.

В капустном листе – настоящее масло,
по-щедрому, так, что не съешь за присест;
однако горело в душе и не гасло
прощанье, хозяйкин напутственный крест.
И странную жизнь он себе предназначил:
в единую нитку сливались года,
он вместе с косцами по селам батрачил,
однако домой не ушел никогда.

1928

Поселенцы

Разрешенье на жительство дал магистрат,
и трава потемнела в лесу, как дерюга, —
на окраину в эти весенние дни,
взяв мотыги и заступы, вышли они,
и от стука лопат загудела округа.

Подрядившись, рубили строительный лес,
сколотили на скорую руку заборы, —
каша весело булькала в общем котле,
и по склонам на грубой ничейной земле
созревали бобы, огурцы, помидоры.

Поселенцы возили на рынок салат
и угрюмо глядели навстречу прохожим —
только голод в глазах пламенел, как клеймо;
им никто не помог, — лишь копилось дерьмо,
всё сильнее смердовшее в месте отхожем.

В перелог уныло чернели стручки,
корешки раскисали меж прелого дерна,
на опушке бурел облетающий бук,
где-то в дальнем предместье ворочался плуг, —
но пропали без пользы упавшие зерна...

И мороз наступил. В лесосеках опять
подряжались они, чтоб остаться при деле, —
пили вечером чай на древесном листу,
и гармоника вздохи лила в темноту.
Загнивали посевы, и гвозди ржавели.

1928

Контуженный

Тот самый день, в который был контужен,
настал в десятый раз; позвать врача —
но таковой давно уже не нужен,
навек остались дергаться плеча.
Сходил в трактир с кувшином — и довольно,
чтоб на часок уgomонить хандру:
хлебнешь немного — и вдыхать не больно
сырой осенний воздух ввечеру.

По окончаньи сумерек, однако,
он пробирался в опустевший сад
и рыл окопы под защитой мрака,
совсем как много лет тому назад, —
всё как в натуре, ну, размеров кроме,
зато без отступлений в остальном, —
и забывал лопату в черноземе,
что пахнул черным хлебом и вином.

Когда луна уже светила саду,
за долг священный он считал залечь
с винтовкою за бастион, в засаду,
где судорога не сводила плеч;
там он внимал далеким отголоскам,
потом — надоедала вдруг игра,
он бил винтовкой по загнившим доскам,
бросал ее и плакал до утра.

1929

Из сборника «С гармоникой» (1936)

Мартовские смерти

Когда межу затянут сорняки
и вспыхнет зелень озими пшеничной,
в деревне умирают старики
весенней смертью, тяжелой, но привычной.

Сам воздух, будто некая рука,
орудует, в кого постарше целя,
чтоб тот залег в могилу тюфяка,
с которой встал-то без году неделя.

Они лежат, одеты потеплей,
и слушают – занятя нет приятней, —
как треплет ветер кроны тополей,
как шумный гурт прощается с гусятней.

Взвар застывает коркой возле рта,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.